
БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА



БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА

СОЮЗ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л47

Дизайн серии *Виктории Лебедевой*

В оформлении книги использованы фотографии из личного архива Бориса Мессерера, РИА Новости, а также работы Юрия Королева

На шмуцтитулах – рисунки Бориса Мессерера

Ахмадулина, Белла Ахатовна

Л47 Союз радости и печали / Белла Ахмадулина. – Москва: Издательство АСТ, 2018. – 400 с., ил. – (Биография эпохи)

ISBN 978-5-17-108186-7

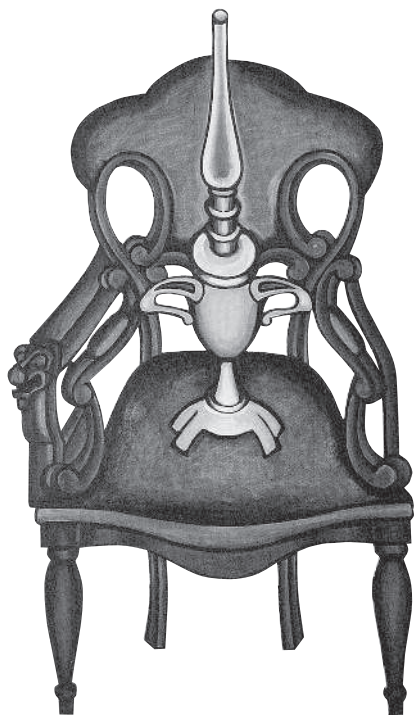
На протяжении многих лет Белла Ахмадулина писала литературные портреты людей, которые, как она говорила, «повлияли на ход и склад моей жизни». А среди них А. Ахматова, Б. Пастернак, П. Антокольский, Б. Окуджава, В. Набоков, Вен. Ерофеев, С. Довлатов, В. Высоцкий, А. Тышлер, М. Плисецкая... На страницах же этой книги не только современники поэта, но и его предшественники – А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, М. Цветаева. И о каждом, с кем была знакома или лишь мечтала иметь знакомство, Б. Ахмадулина рассказывает с восхищением и любовью, бесконечно радуясь тому, что природа одарила их уникальным талантом.

«Я из тех, кто считает дар другого человека даром всем нам и мне», – пишет она, щедро делясь с читателями воспоминаниями и размышлениями о чудесных встречах, незабываемых поездках, той уникальной культурной атмосфере, в которой она жила и которая сегодня перешла в вечность.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-108186-7 © Б.А. Ахмадулина (наследники), 2018
© РИА Новости
© ООО «Издательство АСТ», 2018

ЧУДНАЯ ВЕЧНОСТЬ



Пушкин. Лермонтов...

Когда начинаются в тебе два этих имени и не любовь даже, а всё, всё – наибольшая обширность переживания, которую лишь они в тебе вызывают?

Может быть, слишком рано, ещё в замкнутом и глубочайшем уюте твоего до-рождения на этой земле, она уже склоняется и обрекает тебя к чему-то, и объединяет эти имена со своим именем в неразборчивом вздохе, предрешающем твою жизнь.

Но что я знаю об этом? Сначала – ничего. Потом – проясняется и темнеет зрачок, и в долгом прекрасном беспорядке младенческого беспамятства обозначается тяжёлое качание ромашек где-то под Москвой, появляются другие огромные пустяки, и на всём этом – приторно-золотой отсвет первого детского блаженства. Потом, ни с того, ни с сего, в Ильинском сквере, – слабый, голубоватый цвет мальчика, тяжело перенесшего корь, остро-худого, как малое стёклышко. Он умудрен и возвышен болезнью, и мы долго с важностью ходим, взявшись за руки. Из одной ладони в другую легонько упадет вздох живой кожи, малость какая-то, которой тесно, – его последняя крапинка кори. Сквозь корь я с неприязнью различаю, что взрослых отвлекает от меня какая-то плохая забота, являются новые запахи и звук, чьей безнадежной протяжённости тогда я не оценила. Наконец

куда-то везут, и в ярком пробеле вагонной двери я вижу небо, короткую зелень травы, коров, и в последний раз понимаю, что всё – прекрасно.

Потом – в темноте эвакуации, в чужом доме, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы. Давно уже, в крошечном «всегда», прожитом к тому времени, висят надо мной по вечерам два этих бормотания, слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно, я узнаю в звуках слова, а в словах – предметы мира, уже ведомые мне.

– Буря мглою небо кроет... – И вдруг такая беспросветная тоска, такая боль неуюта и одиночества, беспечного сознания защищённости и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, – что она может поделаться с великой непогодой над миром?

Потом наступает довольно долгий отдых какого-то безразличия. Бешеной детской памятью ты мгновенно усваиваешь даты и строки, связанные с этими двумя именами, смело бубнишь: «Великий русский поэт родился...», и всё это придаёт тебе какой-то свободы и независимости от них. Во всяком случае так это было со мной. И только много позже ты обращаешься к ним всей энергией своего существа, и это уже навсегда. Потому много позже, что, кажется, человек дважды существует и в полном объёме своего характера – в раннем детстве и в зрелости.

И вот приходит пора, когда ни о чём другом и думать не можешь, словно разгадываешь тайну. Единным страданием прочитываешь всё сначала, но что-то ещё остаётся неясным. Все исследования, все

сторонние мнения вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей личности великого человека ты различаешь ещё нечто – малое, живое, родимое, предназначенное только тебе.

Тобой овладевает беспокойная корысть собственного поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже неживую, жизнь.

...В Царскосельском парке, на повороте аллеи, я столкнулась лбом с коротким и твёрдым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, вытесненный полтора века назад бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. С ним здесь нельзя было разминуться – нога повсюду попадала в его след – лукавый и быстрый, как улыбка. Он так осенил и насытил собой эти деревья, небеса и воды, статуи, разумно белеющие среди зелени, что всё это не выдержало вдруг избытка его имени и радостно выдохнуло его мне в затылок. И вдруг, в радостном помрачении рассудка, сместившем время, я засмеялась: слава Богу! один ещё бегаёт здесь, пробивая прочную зелень крепкой смуглостью детского лба, а тот, другой, верно, и не родился пока! Какое редкостное благополучие в мире!

...В ту ночь в Михайловском тишина и темнота, обострившиеся перед грозой, помогли мне догнать его тень, и близко уже было, но вдруг быстрый, резкий всплеск многих голосов заплакал над головой – это цапли, живущие высоко над прудом, испугались бесшумного бега внизу. И я одна пошла к дому. Бедный милый дом. Бедный милый дом – столько раз

исчезавший, убитый грубостью невежд, и снова рождённый детской любовью людей к его хозяину. Из него можно выйти на крыльцо, сверху глядящее на реку. Но лучше не выходить и не видеть того, что видно. Потому что река, скромно сияющая в просвете деревьев, и простые поля за рекой, не остановленные никаким пределом, расположены там таким образом, что лёгкие вдыхают вдруг боль и нет такого «ах», чтобы её выдохнуть. Это есть твоя земля, но в таком чрезмерном средоточии, в такой высокой степени наглядности, что для одного мгновения твоей жизни это невыносимо много.

Но дом был тёмный и пуст. Где же его хозяин? В Тригорском, конечно!

Учёный и добрый человек разгадал мою чудную тоску и ничего не стал запрещать мне в ту ночь. Я взяла подсвечник, который был старше меня на двести лет, но прочнее и новее меня, засверкал он тремя свечами. Я вошла одна в этот длинный, под фабрику строенный дом, более всех домов в мире населённый ревностью, любовью и тоской – всё здесь обожжено и заплакано им. Медленно, медленно моих губ коснулся сумрак той осени – минута в минуту сто сорок лет назад. И тогда, остановив меня на пороге гостиной, маленьким нежным рыданием заиграл золотой голосок. Я не испугалась! Я знала эту игрушку – бессмертная птичка в клетке, умеющая открывать жалобно поющий металлический клюв. Как тосковал тот, кто завёл её ночью и слушал один! А как затоскует он зимой! Буря мглою... нет сил.

Что же, он был там? Конечно. А я его видела? Нет, я осторожно пошла прочь. Если очень лю-

бишь свою тайну, я думаю – не надо заставлять врасплох её целомудрие и доводить её до очевидности.

Ну, а тот, другой, ради которого я вспоминаю всё это и называю, берегу в тишине второе и тоже единственное имя – долгое, прохладное, сложное на вкус, как влага, которой никто не пил? С ним пока всё еще не так плохо, но и радоваться нечему: ему минуло уже десять лет, а он рано узнает печаль.

Однако, как летит время, особенно если ты, случайной кривизной памяти, попал в прошлый век.

И вот я в квартире на Мойке, столько раз реставрированной и всё же хорошо сохранившей выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивают лица к стендам, и оттого все кажутся длинноносы и трогательно нехороши собой.

Учёная женщина-экскурсовод самоуверенным голосом перечисляет долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Ещё немного – и она, пожалуй, договорится до его трагической гибели. Но мне невольно это слушать, и я бегу от того, что принадлежит ей, к тому, что принадлежит мне.

Если он так жив во мне, может быть, есть какая-нибудь надежда. Но я смотрю в стекло, под которым... Нет никакой надежды. Там, под стеклом, помещён небольшой кусок чёрной материи, приведённой портным к изящному и тонкому силуэту. Это жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер так вдруг поразил, потряс, разжалобил меня, и вся живая прочность моего тела бросилась на защиту той родимой,

горячей, беззащитной худобы. Но давно уже было позади, и слёзы жалости и недоумения помешали мне смотреть, – неся их тяжесть в глазах и на лице, я вышла на улицу. Что осталось мне теперь?

О, ещё много – четыре с лишним года от этого января и до того июля. Пока неизвестно, что будет потом. Только едва ощутимый холодок недоброго предчувствия, как тогда, вернее – как потом, в моём детстве, в эвакуации.

Эти четыре года между 1837 и 1841 – самый большой промежуток времени из всех, мне известных. За этот срок юноша, проживший двадцать два года, должен во что бы то ни стало прожить большую часть своей жизни – до её предела, до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы её достигнуть. Но этому юноше она нужна немедленно – он остался один на один с обстоятельствами великой поэзии, и они вынуждают его к мгновенному подвигу многолетнего возмужания. Разумеется, это естественная, единственно возможная судьба его, а не преднамеренное усилие воли.

И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, в любимой им легенде, путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и ещё неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдётся.

Ему удаётся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену – «за одну, но только полную тревог».

Итак: «погиб поэт...»

Я знаю, это моё, несправедливое пристрастие – начинать счёт с этого момента, с этой строки, но для меня – отсюда именно начинается эта сиротская, тяжёлая любовь к нему. Я поздно спохватилась: остаётся лишь четыре года.

Я до сих пор – а прошло сто лет и ещё столько, сколько исполнилось мне в этом году – не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одной быстрой мукой, одним порывом почерка написанная часть, потом – зачёркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нём. А рука – не тверда от боли. Потом – устал. Нарисовал профиль справа и вниз. Потом – ясно, сразу написано: «Не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!» Ну да. Ведь это так дополнительно ужасно: погиб, всё кончено, но ещё если представить себе, каким образом, – дурное, малое ничто поднимает руку на что? На всё, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

И это – отдельно написанное, благородное, абсолютное, наивное, даже детское какое-то проклятье в конце.

Для меня – это последнее его стихотворение, оставляющее мне возможность обывательской растроганности: Господи! а ведь он ещё так молод! Дальнейший его возраст – лишь неважная, житейская пмета, ничего не объясняющая в завершённом

ной, как окружность, наибольшей и вечной зрелости духа, не подлежащей вычислению.

В спешке жажды и тоски по нему сколько жизни проводим мы среди его строк, словно локти разбивая об острые углы раскалённого неуютя, в котором пребывала его душа. В садах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, – при его-то таланте протянуть руку и о пустой звук порезаться, как об острие. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности – «И верится, и плачется, и так легко, легко». О, знаю я эту лёгкость: всё быстрее, быстрее бег его нервов, всё уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце и бедная эта, живая оговорка: «Но не тем глубоким сном могилы...»

И ещё очень люблю я в нём небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит». Это – как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораешь перевозбуждением оттого, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдёшь невольно на неясный зов какой-то белизны. И увидишь: долгое здание, приведённое в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнёшь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский мона-

стырь, где по ночам так ярко белеют монастырь, маленький памятник и звёзды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеёй твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И всё же я не добралась ещё до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы ещё развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха всё хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь, и видел всё это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зренья, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращён сюда всевластным усилием любви. Там я и оставила его – он стоит там, обласканный южным небом, но хочет вернуться на север, туда, куда нельзя не вернуться. И он вернётся.

Но почему два имени сразу? Не знаю. Так случилось со мной. Недавно, в чужой стране, в большом городе, я и два человека из этого города, и один человек из моего города, стояли и смотрели на чужую прекрасную реку. И кто-то из тех двоих мельком, имея в виду что-то своё, упомянул эти имена. Мы ничего не ответили им, но наши лица стали похожи. Они спросили: «Что вы?» Я сказала: «Ничего». И выговорила вдруг так, как давно не могла выговорить: ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ.

И в этом было всё, всё: они и имя земли, столь близкое к их именам, и многозначительность души, связанная с этим, всё, что знают все люди, и ещё что-то, что знает лишь эта земля.